Елена

КОЛИНА

Ты как девочка

Думаете, вам плохо?
Нет, это вы взрослеете.
Взросление взрослых —
самое интересное

Мальчики да девочки

Елена Колина

Ты как девочка

«АСТ»
2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Колина Е.

Ты как девочка / Е. Колина — «АСТ», 2018 — (Мальчики да девочки)

ISBN 978-5-17-110514-3

Две подруги-писательницы, автор интеллектуальной прозы и знаменитая сочинительница любовных романов, сколько между ними всего с юности до наших дней, — преданность и предательство, зависть и восхищение, одна любовь, и… один сын? «Самое интересное это взросление взрослых», — говорит главный герой, так преданно любящий свою мамочку. В какие игры играет с нами память, можно ли мужчине быть слабым и чувствительным, станут ли друзьями взрослые дети и их невзрослые родителями? Эта книга своей иронией и проницательной наивностью дает нам возможность посмеяться, погрустить, и на время перестав тревожиться о своей жизни, погрузиться в чужую и понять, что наша жизнь ценна, и в ней есть надежда на счастье.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-110514-3

© Колина Е., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Клара у Карла украла 6
Я не хочу быть старородящей! 12
Труды и дни Андрея Мамкина 19
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Елена Колина
Ты как девочка

Подруги-писательницы, жестоковыйный лауреат и знаменитая писательница для дур выдуманы и все совпадения случайны.

Думаете, только вам плохо? Как бы не так!
Андрей Мамкин

Если вам скажут, что кто-то был в школе жертвой травли или ботаником, а потом он вырос и стал звездой, – не верьте. Или, наоборот, в школе был звездой, а потом оробел – тоже не верьте. Человек всегда один и тот же, что в четырнадцать, что в пятьдесят.

Эта книга про мои отношения с Мамочкой. Меня интересуют кризисы взросления и старения. Это вообще самое главное – взросление и старение.

Если вас сильно раздражает «Мамочка», то ничего не поделаешь, я не собираюсь ради вас менять свои привычки.

А если вы удивляетесь, что я такой умный, так посмотрите на анкету Пруста, которую он заполнил мальчиком. Только я не… ну, вы понимаете.
Андрей Мамкин «Тайный Дневник Андрея Мамкина, предназначенный для печати и экранизации»

Клара у Карла украла

Я не хочу быть той, на ком никто не захотел жениться!

Давным-давно, в восьмидесятые годы прошлого века, было принято выходить замуж.

ЭТО БЫЛО ТАК ДАВНО, ТОГДА ВСЕ ПО-ДРУГОМУ БЫЛО!

Не очень давно!.. Это время даже не то чтобы приблизительно близкое к нам, это время совершенно наше: тогда родились люди, которым сейчас чуть больше тридцати, у мам, которым сейчас чуть больше пятидесяти. Это наше время. Но другое.

Ни о чем таком, вроде «искать себя», тогда не было речи. Начать учиться в университете, бросить университет и, немного поискав и не найдя себя на родине, поехать волонтером в Европу, осесть во Флоренции, придумать учиться на факультете политологии, через год передумать, вернуться в Питер, поступить в магистратуру, бросить, уехать в Батуми, открыть там бар и вдруг однажды ночью услышать стук биологических часов – и разволноваться, тик-так, тик-так, не пора ли заводить детей, – а утром подумать, что это все от «Кот дю Рон» от Домен Гран Николе из списка вин «Дерзкие и натуральные. Для винных энтузиастов» и впереди еще полно времени… Ни о чем таком в 1985 году речи не шло. Учиться там, куда довелось поступить, и замуж – это всё.

Девушке нужно было выйти замуж в институте. После окончания института незамужней мог светить только роман с женатым на работе – и тогда уже всё, при этом на бедную незамужнюю падала тень второсортности – «никто замуж не берет» или ей сразу же выносился вердикт «второй сорт». В роддоме, кстати, двадцатичетырехлетнюю роженицу называли «старородящая». Неприятное слово, как будто рожаешь в девяносто, и в нем прямо-таки физиологическая второсортность, как пересортица у фруктов или осетрина второй свежести.

Если и был на свете человек, который не собирался нести на себе даже тень второсортности, то это Клара Горячева. В детстве ее дразнили «воображала, первый сорт, куда едешь, на курорт», и она не обижалась, а, напротив, радовалась: она первый сорт!

Кларе девятнадцать лет, она неяркая одуванчиковая блондинка, студентка третьего курса технического института. Не имеет значения, где и чему Клара учится, ее путь определен – аспирантура, диссертация, преподавание в институте, два месяца отпуска. Клара мысленно скакала на одной ножке – ей всего девятнадцать, а уже свадьба, она уже замужем, ха-ха-ха!

Жених с невестой были такие «еще дети», домашние дети, что казалось, это их родители женятся друг на друге. Родители были очень разные: отец жениха с тихим ехидством называл своих новых родственников «профессора» или «наши сваты профессора», а Кларин отец, которому в голову не пришло бы фольклорное «сваты», рассказывал старым друзьям: «Кларины новые родственники – такие типичные советские начальники». Старые друзья называли профессора студенческим прозвищем Екарный Бабай за неумелые попытки ругаться или просто Бабай.

Андрей Горячев, физик (его работы были хорошо известны за границей), не принимал участия в семейной суете, но это только на первый взгляд. На самом деле он был вовсе не отстраненным от семейных проблем отшельником-шизоидом, какими любили изображать ученых, а большим жизнелюбом, любил семейную суету, любил быть главным в семье, правда, руководить женой и дочкой предпочитал дистанционно, с работы или из-за закрытой двери своего кабинета.

«Профессора», Андрей и Берта, из деликатности не признались бы новым родственникам, что им стыдно за такую роскошную и шумную свадьбу. Профессору Горячеву и его жене (Берта была необыкновенно хороша собой, вылитая актриса Быстрицкая) было стыдно сидеть

за столом, будто в президиуме, обвитыми кумачовыми лентами с выписанными на них золотом «тесть» и «теща», стыдно смеяться шуткам про тещу и стыдно не смеяться… стыдно, когда по команде тамады жениха и невесту обсыпали пшеном «для плодородия». При слове «плодородие» применительно к своему ребенку профессор Горячев вздрогнул и ужасно покраснел.

Когда тамада закричал: «А теперь сватам – горько!», отец жениха, обвитый красной лентой, с привычной начальственной гордостью демонстрировавший звание «свекр», встал и повернулся к матери невесты. Горячев сделал страдальческое лицо «ну, уж это нет, это перебор», но его жена встала и подставила щеку своему новому родственнику Кузьмичу.

Кузьмич – не отчество, как могло показаться, а фамилия. Кларин жених Стасик имел типичную белорусскую фамилию Кузьмич. Кузьмичи оба были начальниками, она, Кузьмич Т. П., главней. По утрам от их подъезда расползались в разные стороны две черные «Волги» – ее везли в Смольный, а его на Исаакиевскую площадь, в исполком. Кузьмичи оба сделали прекрасную карьеру.

С точки зрения Кузьмичей этот брак был мезальянсом: всем понятно, что детям начальников лучше было бы жениться на детях начальников, а не тащить в семью чужеродных интеллигентов. Когда Стасик сделал Кларе предложение, первое, что Кузьмич спросил у будущей невестки: «А твой папа водочку пьет?» Он сам не то чтобы напивался вдрызг, пил слишком уж сверх меры, просто проверял совместимость. Клара сказала «нет». Кузьмич вздохнул: эти люди чужие и никогда своими не станут.

Смешно, что с точки зрения Горячевых все обстояло точно так же: это был нежелательный союз, уступка единственному ребенку, мезальянс. По совершенно симметричным причинам: Кузьмичи были чужими, из другой среды, другого культурного уровня, не понимали шуток, не читали книг. «Мы ваших книг не читаем», – коротко выдохнул Кузьмич при первом знакомстве, показав брезгливо на томик Кортасара, чем-то Кортасар ему особенно не понравился.

– Только Чуковский, – серьезно сказала Клара.

Родители на нее шикнули: назвалась груздем – полезай в кузов да и сиди там, не иронизируй.

В генеральном различии семей имелись и свои преимущества. Кузьмичам этот союз льстил: среди их родни ученых не было, у них самих в смысле образования было негусто, училище плюс партийные курсы, далеко не уедешь. Горячев был настоящий ученый, профессор в очках. Кузьмичи говорили: «Наш сват – ученый международного уровня, автор книг и теорий». Кузьмичи, в свою очередь, своим положением вызывали у Горячевых робость и уважение: ведь они были совершенные маги и волшебники. Все время предсвадебной суеты Горячев со смешанными чувствами протеста и робости наблюдал, как живут в другом мире, где все решалось одним звонком (икра, колбаса, дубленка, больница), где водитель привозил домой пайки с невиданными деликатесами, лучших врачей… Профессор называл Кузьмичей «хозяева жизни».

Конечно, они были разных взглядов, разных убеждений. У Горячевых дома хранили Солженицына, могли рассказать антисоветский анекдот, любили посмеяться над советским официозом, пусть и за закрытой дверью. Убеждения же Кузьмичей были таковы: официальная линия партии – это и есть их убеждения, и откуда же взяться другим?..

Но Горячевы без всякого напряжения понимали, что убеждения – это последнее, что характеризует новых родственников, тем более и убеждений-то никаких нет, а в самом главном человеческом смысле они хорошие, очень хорошие люди. За месяц до свадьбы у профессора случился сердечный приступ – новые родственники прислали бригаду кардиологов, целую клинику на дом. И ведь их никто не просил, они сами, сами. Да и жених был неглуп и почтителен.

А Кузьмичам нравилась невестка, девочка с мягким треугольным лицом. Рядом с их огромным красавцем Стасиком тоненькая до хрустальной хрупкости Клара в облаке светлых

кудрей выглядела застенчивым одуванчиком, нежно улыбалась, скромно себя вела – такая хорошая девочка, без недостатков! Кроме того, Кузьмичам, с их природной живучестью, было ясно: в этом конкретном случае у них будут красивые внуки.

Итак, для обеих семей это шаг наверх и вбок, и хотя в объединении Кузьмичей и Горячевых были некоторые подводные камни, в главном имелся полный консенсус: на вопиющую разность семей закрыть глаза, всем дружить и прекрасным двадцатилетним детям дать все самое лучшее.

Всем было понятно, что у молодой семьи исключительно радужные перспективы: родители жениха имеют организационные возможности, родители невесты – научные, они возьмут своих детей и вместе понесут их в будущее: Кузьмичи поспособствуют, чтобы детей взяли в аспирантуру, Горячев напишет детям диссертации, затем в игру опять вступят Кузьмичи: Клару устроят преподавать, Стасику будут делать карьеру. Карьера Стасика будет не научная, а настоящая, партийная. Клара будет ученым, как папа, Стасик будет начальником, как мама с папой, возможно, станет первым человеком в городе, ну не прелесть ли?.. Золотая парочка.

Квартирный вопрос у золотой парочки не стоял, им было где жить – у Таврического сада. В доме на Таврической улице у Горячевых было две квартиры: в большой квартире на пятом этаже останутся родители, а в маленькой квартирке на третьем этаже будут жить дети, Клара с мужем.

В середине свадьбы, когда все уже выпили, оба клана перезнакомились, Клара несколько раз сбегала с девочками покурить (она не курила, просто за компанию глотала дым), тамада велел жениху произнести тост. Стасик пихнул Клару локтем – «давай ты».

Кларин тост на свадьбе произвел на гостей впечатление разорвавшейся бомбы, обсуждать его не перестали и через день после свадьбы, и через год. Берта, вспоминая, говорила: «Одного не понимаю – что вдруг?..» Кларина свекровь называла этот тост «вот тогда-то я сразу и поняла» (вранье, ничего она не поняла, просто чуть не умерла от ужаса).

Клара начала свой тост от стеснения косноязычно:

– Спасибо папе… и маме… маме и папе, и родителям Стасика, и всем гостям… Я очень хотела выйти замуж, и тут встретила Стасика, и… и… и… – В полной тишине Клара несколько повторила «и», как будто на нее нашел приступ икоты, и замолчала.

Берта покраснела (Кларины слова звучали так, будто она хотела устроить свою судьбу, и тут ей подвернулся Стасик).

Тут какой-то нетрезвый гость захлопал в ладони и закричал: «За новобрачную Кузьмич!» Гости Кузьмичей разделились на две группы: такие же, как Кузьмичи, начальники (белоснежные рубашки, пиджаки, животы, важные лица) и деревенская родня (к чести Кузьмичей они от своих корней не отказывались, и родня из Витебска была представлена полно). Обе группы рассматривали гостей со стороны невесты настороженно – что за люди эти профессора, пьют мало, песен не поют. Главный кузьмичевский гость, свадебный генерал, первый секретарь то ли обкома, то ли горкома, смотрел неодобрительно – культурные, конечно, люди, научная элита, но вот что сидят с кислыми рожами, как на симпозиуме, здесь ведь не симпозиум, а свадьба.

– За новобрачную Кузьмич! – не унимался пьяный гость.

– Нет, я оставила свою фамилию, Горячева. У нас с папой в детстве был конфликт, ужасный… – Клара засмеялась, как артистка на сцене, ощутила уверенность от звука собственного смеха и принялась рассказывать историю в лицах.

За себя, капризным голосом: «Папа! Я ненавижу фамилию Горячева! Папа, я не хочу быть Горячевой, я поменяю эту дурацкую фамилию на мамину, красивую! Папа-папа, папа-папа…»

Так смела и хороша собой была Клара, что все слушали завороженно, и Клара поймала реакцию зала, и ее понесло:

– И вот так я его мучала: Горячева, Горячева, хуже Горячевой только Иванов-Петров-Сидоров! И вот теперь я всегда буду Горячевой в знак моей любви к папе. Папочка, ты лучше всех, я горжусь, что ты мой папа… и даже твоя фамилия этого не испортит.

Свадебный стол грохнул смехом и аплодисментами.

– Не поменяла фамилию, как это не поменяла? – растерянно-оскорбленно переспросила Кларина свекровь.

Когда все отсмеялись, кто-то из начальников, гостей Кузьмичей, спросил на весь стол: «Какую же ты хотела фамилию?» В те времена никому и в голову бы не пришло обратиться к юной невесте на «вы».

– Я хотела быть Гольдштейн. Клара Гольдштейн – очень красиво, правда? Меня назвали в честь маминой мамы, Клары Гольдштейн. Ее семью фашисты расстреляли в Одессе. Если бы моя бабушка с маленькой мамой перед войной не оказались в Ленинграде, их расстреляли бы, как всех евреев в Одессе… и меня бы не было. Что вы так смотрите? Я еврейка. Вы разве не знаете, что я еврейка?

При слове «еврейка» все замерли. Шокированы были все, и гости-начальники, и гости-ученые: есть вещи, о которых не говорят вслух. Первый секретарь обкома побагровел, и остальные начальники тоже изменили цвет, кто-то побагровел, а кто-то, наоборот, побледнел. Девочка нарушила правила.

Тогда о многом не принято было говорить. Да что там не принято, нельзя говорить. Почему нельзя? Евреи есть, а слова такого нет? И среди коллег профессора Горячева немало евреев, вот они, смущенные, сидят за свадебным столом… Кто запретил произносить «еврейка», каким указом? Никто, никаким, но все это знают. Особенно сами евреи. Клара тоже знает – она же не дура.

Клара на этом не остановилась, в полной тишине продолжала:

– А мой дед Гольдштейн – раввин в нашей петербургской синагоге.

«Синагога» – нельзя говорить! Синагога всю жизнь стоит на Лермонтовском проспекте, напротив химчистки, но говорить нельзя! Пусть бы Клара, белоснежная невеста, тоненьким голосом вдруг сказала матом «…!» и еще «…!» – и то было бы лучше.

Если бы гости могли встать и уйти, как уходят с провалившегося спектакля, целыми рядами под стук откидных сидений, то половина гостей резко шаркнула бы стульями по полу и покинула свадьбу. Но чтобы демонстративно уйти, нужно иметь смелость, и решился лишь свадебный генерал, первый секретарь, – медленно и весомо двинулся к выходу, толстоватым боком сметая со стола бокалы. А бедные Кузьмичи привстали и простерли руки вперед, словно обреченно моля: «куда же вы, куда?..» Возможно, они были на «ты», тогда они молили «куда же ты?..».

Профессор Горячев встал с выражением лица, которое Берта обычно называла «вот только не надо мне делать профессорский вид», – как будто одна часть его отсутствовала по важным научным делам, а другая здесь и хоть рассеяна, но строга. Мягко надавил Кларе на плечо – садись, детка.

– Похвально, что мою дочь, как и всю советскую молодежь, занимает тема Великой Отечественной войны. И в скорби, и в радости – тем более в радости, на свадьбе – мы, советские люди, чтим память жертв нацизма. Родные Клариной бабушки погибли в Одессе, дед погиб на Ленинградском фронте, защищая Ленинград, моя жена Берта ребенком пережила блокаду…

В зале повисла тяжелая тишина. Кузьмичи нерешительно приходили в себя, восхищаясь тем, как умно их сват перевел разговор в другую плоскость: о евреях говорить нельзя, а о жертвах нацизма можно и нужно. И если что, нечего предъявить – мы говорили о святом. Друзья Горячевых мысленно подмигивали: молодец Ёкарный Бабай, ловко изменил акценты.

– Спасибо Кларе за прекрасный искренний тост – за мир во всем мире!

Первый секретарь приостановился, кивнул и схватил первую же попавшуюся рюмку, за ним все гости-начальники старательно закивали и выпили.

Первый секретарь был человек, конечно же, умный и весь вечер посматривал на Клару с любопытством, а на Кузьмичей сочувственно – как это вас угораздило?.. Он понимал, что причины, по которым эта хорошенькая невеста попыталась устроить скандал, были совершенно не мировоззренческого свойства и все евреи на свете были здесь ни при чем. Может быть, кто-то не разглядел, как у нее блестят глаза, но он-то догадался: этот невинный голос, эта наигранная наивность – девчонке вожжа под хвост попала, она шалила, трогала ногой лед, – она еще им покажет, всегда будет поступать как хочет. Кузьмичи в ответ поглядывали будто из-за полуоткрытой двери: наш сын женился на… ох, господи, на еврейке… но мы ничего, не против, мы коммунисты, ленинские принципы интернациональности никто не отменял. Кузьмичи были тоже люди вполне крепкие и держались прекрасно. Удивлялись себе: ребенок выбрал в жены девочку полуеврейку, а они-то как не проверили анкету невесты?! Сокрушенно поглядывали друг на друга: «Да мне и в голову не пришло! А ты что думал?!» – «Да мне и в голову не пришло… А ты что думала?..»

Оба понимали, что на самом деле это не имело значения – знали, не знали… Запретили бы они ребенку жениться, если бы знали? Пожурили бы, предупредили, что карьере помеха, но не стали бы воевать с ребенком – ребенок был прекрасен, ни в чем не знал отказа, и не устраивать же тут Шекспира, отказывая ему в первой любви!.. Тем более времена были незлые, иметь родственников-евреев было нежелательно, но не страшно. Гораздо хуже то, что Клара оказалась такой своевольной. Почему хорошая девочка вдруг нарушила все мыслимые табу?! Тамара Петровна Кузьмич смертельно обиделась на девчонку: кто тянул за язык?! Да и на сына, любимого птенчика, за то, что выбрал в жены змею подколодную. Впрочем, обе мамы хотели одного – как следует невесту отшлепать.

– А что это ты наплела насчет фамилии? Ты что, правда, не поменяла? Как ты вот это самое – не поменяла? Как это вот понимать «не поменяла»? – напряженно спросила свекровь.

– Клара, зачем ты это устроила? Тебе же плевать на все это, национальное, ты же из озорства… Тебя что, давно не били шваброй? – сказал Горячев, как будто он когда-нибудь бил Клару шваброй или чем-то другим. Схватил ее за пышную юбку и усадил между собой и Кузьмичем, поместив между двумя отцами, как в капкан.

– Детский сад, штаны на лямках! Ты вообще понимаешь, что наделала?! – рявкнул Кузьмич. – Кстати, могла бы нам и раньше сказать, что дед раввин… Нам за такую вот родню вплоть до строгого с занесением, а тебя из института вон. Будешь вот в ресторане лестницу мести.

– Не будет. У нее нет деда раввина. Ее дед, отец Берты, был инженер, погиб в сорок первом на Ленинградском фронте.

– Уфф… ну, хотя бы погиб… – облегченно вздохнул Кузьмич. – А наврала-то зачем про раввина? Чтобы страшней было? А фамилию нашу почему не взяла? Стала бы Кузьмичем, как все люди. Заодно запрятала бы своих еврейских раввинов подальше… Да понял я, понял, что нет никаких раввинов… Вот пусть теперь родители думают, что с тобой делать, как тебя наказать!

– Тихо! Слушать меня! Смотреть на меня! – вмешалась Берта, и все посмотрели.

На свадьбе Берта была красивее невесты. Она и в обычной жизни была красивее дочери, они с Кларой были как будто оригинал и неяркая копия. Кроме яркой красоты, Берта, как говорили, обладала стилем, Кларины подружки всегда спрашивали: «Откуда тряпки?», не понимая, что дело не в одежде, а в том, что по утрам из своей спальни она выходила накрашенная, в украшениях, а халата и бигуди на ней в жизни никто не видел.

Родных у Берты никого, она никогда не говорит ни о семье, ни о том, как пережила блокаду. При Кларе об этом никогда ни слова, словно Берта куплена в магазине.

Возможно, из-за пережитой блокады Берте все в мире представляется опасностью. Возможно, она и выглядит всегда прекрасно, потому что ждет катастроф и хочет встретить их во всеоружии, а не в бигуди.

Когда Берте казалось, что ее ребенок в опасности, она становилась львом.

– Слушать меня! Смотреть на меня! Ребенок пошутил. Ребенок остроумный, разве это плохо? Она совсем еще птенец, отстаньте от нее.

Клара улыбнулась и упорхнула танцевать с женихом, чужим птенцом.

Я не хочу быть старородящей!

Через год родилась Мурочка.

А ЧТО, ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ ТОГДА НЕ БЫЛО? СРАЗУ РОЖАТЬ РЕБЕНКА НЕ ПРИКОЛЬНО.

Почему у двадцатилетних детей через год после свадьбы рождается ребенок? Почему, вместо того чтобы отправиться на Эльбрус или заняться чем-то интересным, они уже через три месяца после свадьбы сидят в очереди в женской консультации, чтобы встать на учет?

Может быть, дело в отсутствии контрацепции?

Но какая-то контрацепция имелась: худо-бедно резиновые изделия Баковского завода (все состоящие в законном браке относились к ним презрительно), таблетки (замужние девочки их высокомерно не принимали, считая, что это вредно и годится только для случайных связей), аптечные шарики (фу, какие противные).

Дело было в другом: так было принято – выйти замуж и сразу родить. Даже, пожалуй, другое показалось бы странным. Если бы через год после свадьбы не было бы беременности, молодых заподозрили бы в том, что они друг друга не любят, или у них какие-то проблемы со здоровьем, или они эгоисты. Не заводить мгновенно ребенка считалось эгоистично.

Клару с Мурочкой забирали из лучшего в городе роддома на двух черных «Волгах» Кузьмичей.

Всех детей выносила медсестра, а Мурочку вынес главный врач, потому что Мурочка – принцесса. «Эта девочка, как там ее, Мария, 2 килограмма 800 граммов, 49 сантиметров – потомственная начальница», – улыбнулся про себя врач. Кое-что его настораживало, но он промолчал – «отдадим им внучку в лучшем виде, пусть забирают домой и наслаждаются, а там уж как хотят, с нас спросу нет».

Сверток с принцессой ничем не отличался от других свертков, классическое ватное одеяло, перевязанное розовой капроновой лентой. Все уже знали, что это Мурочка, Мария. У новоиспеченного деда Кузьмича маму звали Марусей, она в Белоруссии в войну от голода умерла, у другого, профессора Горячева, маму звали Марией, Машенькой, она в блокаду умерла. Так что в смысле имени был полный консенсус.

Когда главный врач вынес Мурочку, из строя уверенно выступил Кузьмич, чтобы принять ребенка. Вслед раздалось шипение Берты «иди ты, иди!», обращенное к мужу.

– Ах, как ты поправилась! – этими словами встретила Клару Берта. Это было от любви, но разве кто поправился может понять, что это от любви?

Клара подумала: «Мама – это, конечно, кошмар».

– Как я могла поправиться?! Я просто еще не похудела.

– У тебя стали толстые руки… Ладно, покажи ребенка. В кого у нее такие маленькие глазки? А носик, наоборот, великоват…

– Ну, мама…

– Что мама? Я же переживаю… – объяснила Берта.

Клара заплакала, слезы лились, будто открылся кран. К этой манере она привыкла с детства: Берта вдруг с тревожным видом всматривалась в нее и говорила: «У тебя кривой нос!» (маленькая голова, высокий лоб, большие уши). Клара обижалась, Берта говорила: «Что ты обижаешься, я же переживаю».

В следующий раз Клара заплакала дома, когда развернули ребенка и Берта грудным масляным голосом, растопленным от нежности, запела: «О-о, моя маленькая, моя золотая

девочка». Клара не могла закричать «а я, я чья золотая девочка?!» (неприлично ревновать маму к своему младенцу), но ведь это невозможный ужас, что мама больше ей не принадлежит.

В следующий раз Клара заплакала оттого, что нужно было кормить, а вдруг она не сможет, и тогда… что тогда?.. Слезы лились, будто открылся кран.

Кормить ребенка оказалось не как в книгах, совсем не как Китти кормит ребенка, а Левин стоит и смотрит на нее с умилением. Во всех книгах было написано, каким счастьем наполняется мать, когда кормит младенца, но Клара наполнялась только злостью. К черту, к черту! Это было ужасное ощущение – что от тебя зависит чья-то настоящая жизнь. Быть не самой собой, а источником жизни для беспомощного существа – слишком большая ответственность, от которой хотелось убежать, спрятаться под одеяло и хихикать, будто все это неправда. В первую ночь дома Кларе приснилось, что она умерла и пропустила кормление. А если она и правда умрет или проспит кормление?

В следующий раз она заплакала вечером, когда ей позвонила подружка, и оказалось, что все – все! – идут на день рождения, и как только Клара всполошилась и начала прикидывать, что надеть, так поняла, что ей нельзя в гости, ей нужно кормить… Она как-то этого не ожидала.

В следующий раз она заплакала, когда по радио читали «Тараканище»: на словах «приводите ко мне ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю» слезы полились, как будто открылся кран, а когда прозвучало «бедные, бедные звери, воют, рыдают, ревут», Клара заплакала с подвыванием.

ТОГДА ЧТО, НЕ ЗНАЛИ, ЧТО БЫВАЕТ ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ?

Тогда не модно было иметь послеродовую депрессию. К ночи Клара наплакала себе температуру, каменную грудь (ее грудь вдруг стала предметом всеобщего обсуждения, что уже окончательно показало ей – она больше не человек, а Грудь для вскармливания младенца).

Но где же двадцатилетний отец ребенка? Где? Нигде. То есть он дома, конечно, но его нет. Как будто Клара родителям родила.

И все изменилось, и все изменились в первые же дни.

Профессор Горячев страдал оттого, что потерял и не мог отыскать Клару. Это чувство возникло, когда Клара вышла замуж, когда стала беременна. Он старался не думать о том, что привело к беременности, это удавалось, но, перестав быть образом, Клара навсегда приобрела телесность, и это высветилось еще ярче, невыносимей, когда она вернулась из роддома с ребенком: неужели его прелестная Клара, надменно желающая другую фамилию, часами крутящая Окуджаву, неужели она случилась в мире лишь для того, чтобы стать звеном цепочки, еще одной мамашей, обустраивающей свое гнездо?.. Он все ждал, когда вернется прежняя Клара, но рядом была невыспавшаяся, озабоченная, взрослая женщина, и… как там написал Лев Толстой? Прежняя, поэтичная Наташа была лишь началом этой, настоящей, с пеленкой с желтым вместо зеленого пятном? И его нежная детка, его Клара тоже была лишь началом?..

Берта неустанно, днем и ночью, ссорилась с Кларой:

– Ты не так кормишь! В первый же день, придя из роддома, ты сказала: «А можно мне уйти?» Твой материнский инстинкт до сих пор не проснулся!

Берта непрерывно беспокоилась о двух своих детях: как бы получше накормить Мурочку, ведь она весит три с половиной килограмма, и не истощит ли кормление Клару, ведь она весит сорок восемь килограммов. Проснулись ли материнские чувства у Клары, думала Берта, и все получалось одно и то же – не проснулись.

Каждое кормление превращалось в экзамен, в жить или не жить. Клара начинала трястись от беспокойства и злости при виде Берты, которая подходила к ней с ребенком наперевес.

Берта с трагическим лицом взвешивала ребенка до кормления и после. Результат был всегда неудовлетворителен, от трагического «она ничего не съела!» до унылого «она плохо поела».

Немного лучше дело пошло, когда Клара научилась кидать себе психологический спасательный круг – наливала в рожок детскую молочную смесь «Малыш» и ставила рожок на письменный стол перед собой: кормила, не сводя глаз с рожка, – если опять неудача, то ребенок не умрет на месте от голода, вот рожок, на столе.

Горячев не понимал, почему в его доме все продезинфицировано и покрыто марлей, почему нельзя громко смотреть телевизор.

– Ты что, с ума сошел?.. Неужели я должна тебе объяснять?! Ребенок спит!

– Но ребенок спит на третьем этаже, а я нахожусь у себя дома на пятом.

– Если ты не понимаешь, значит, ты плохой отец Мурочке!

– Это ты сошла с ума! Я не отец! А ты не мать! Ты бабушка! Бывает гипертрофированное материнство, а у тебя гипертрофированное бабушинство!

– Вот как ты ко мне относишься, теперь я для тебя бабушка… – плакала Берта.

Клара плакала, хотела к подружкам, и Берта все время плакала: у нее, как у Клары, была послеродовая депрессия. Берта как будто сама все пережила: и роды, и перемену своего статуса с девочкиного на бабушкин, и Мурочкины жалкие при рождении 2 килограмма 800 граммов. В первые же дни у нее появились черные круги под глазами, хотя это Клара не спала ночами на третьем этаже, а она на пятом – спала. Спала и во сне нервничала, как там ее дети, Мурочка и Клара, на третьем этаже…

Горячев подумал: может быть, у нее развился невроз и гипертрофированная любовь к внучке оттого, что она была блокадный ребенок без мамы?.. Подумал, пожалел ее и опять начал раздражаться.

Прошло чуть больше месяца после выписки из роддома, и вот уже праздновали Мурочкино рождение, – тогда в глазах Клары уже проступило отчаяние зверя, попавшего в ловушку, – она поняла, что свобода потеряна, уйти к подружкам нельзя, в кино нельзя, погулять нельзя, никогда она не будет прежней, свободной, как шмель, не будет жужжать сама по себе, одинокая и независимая. Этот жуткий, не оставляющий ее ни на минуту страх за младенца – навсегда. И как бы страстно ей ни хотелось уйти, убежать, скрыться, спрятаться, стать прежней не получится. Клара уже почти привыкла к напряжению: она чувствовала такую страшную ответственность, в которой не было места больше ничему – ни радости, ни свободе.

На праздновании рождения Мурочки вышел скандал.

Кузьмич выпил и сказал:

– Я своей внучке весь Ленинград подарю!

– А мой муж уже присмотрел ей тему диссертации. – Берта тактично перевела разговор на любовь мужа писать всем детям, взрослым и новорожденным, диссертации.

Скандал был опять связан с фамилией. На этот раз Клара не желала, чтобы ее дочь Мурочка носила фамилию Кузьмич. Клара заикалась и ревела, сквозь слезы бормотала: «Представьте, она будет Мура Кузьмич, над ней будут смеяться, пожалейте ребенка, ну пожа-алуйста…» И вдруг мудрым насмешливым взглядом львицы поглядела на пирующих родственников и сказала: «Не дам». И даже как-то лязгнула зубами.

Все сошлись на том, что Клара сама не понимает, о чем рыдает, но если начать ей противоречить, то у нее немедленно пропадет молоко. Клара, мгновенно перестав рыдать и трястись, подмигнула Берте, и та вдруг поняла, что дело с материнским инстинктом обстоит не так плохо, кое-какой материнский инстинкт у Клары все же проснулся. Потом в суете дней все как-то забылось, Мурочка осталась Горячевой, а Кузьмич к тому времени так полюбил Мурочку, что даже не обиделся.

Оба деда, Кузьмич и Горячев, в порыве любви к общему младенцу отставили настороженную вежливость, перешли на «ты» и, при всей иронии, испытывали друг к другу привязанность. А вот женщины – наоборот. До рождения Мурочки у них были вежливо-отстраненные отношения – что им было делить?

Теперь нашлось много чего делить: время, любовь и кто главный в доме у детей. Кто Мурочку растит, тот и главный! У Берты порошки и таблетки, она каждую таблетку на восемь частей делила, в порошок толкла, в кальку заворачивала и подписывала «12.00», «12.30», «13.00». Вся ее жизнь подчинена была порошкам и таблеткам. А у Тамары Петровны ничего не изменилось: Смольный стоял на месте, черная «Волга» за ней приезжала. Берта вообще подозревала страшное: Тамара Петровна не полюбила Мурочку больше жизни.

…Но что это за цифры такие – 12.00, 12.30, 13.00? Таблетки, порошки, что это?

Оказалось, Мурочка нездорова. Можно сказать, больна, а можно не говорить, чтобы не расплакаться.

Это обнаружилось все на том же праздновании Мурочкиного рождения, когда Мурочку повнимательней рассмотрели.

Как только дело с фамилией было приблизительно решено, Мурочка заплакала, и бабушки-дедушки вчетвером (Клара во втором ряду, Стасик в третьем) ребенка развернули.

– Ну вот, все в порядке, ребенок – девочка, – довольно сказал Кузьмич.

Берта привычно запела, зазвенела, как колокольчик: «Моя маленькая, золотая».

– Она какая-то странная, – трезвым голосом сказала Тамара Петровна.

Берта на Тамару Петровну обиделась смертельно. Она Мурочку назвала странной! И так равнодушно, будто не любит Мурочку больше жизни!

– Ты врача-то спросила, что это у ребенка? Тебе же в роддоме ребенка приносили, – сказала Тамара Петровна.

– Ты почему врача не спросила, что это у ребенка? И как лечить? – сказала Берта полузадушенным голосом.

Клара пожала плечами, как в детстве, оправдывалась: ну мама, я не знаю, я не видела, мне так страшно было, что ребенок… тем более ребенка в чепчике приносили.

– Да вы же ее уже месяц видите, могли бы сказать…

Трудно в это поверить: Мурочка уже месяц дома, они ее пеленали, купали – и не замечали огромную, в полголовы, шишку. А сейчас все вместе смотрят и видят: точно, у девочки на голове шишка, мягкая, будто там внутри жидкость. Потом узнали, что это называется гематома.

Трудно, но можно поверить: они гематому не замечали. Клара не знала, как должно быть, как должна выглядеть голова младенца, – раз мама ничего не говорит, значит, так и должно быть. Горячев весь в науке, а Стасика, никому не нужного, к ребенку не допускали, и права замечать у него не было. Почему Берта ничего не заметила, объяснения нет, разве что модное объяснение, что человек физически видит только то, что хочет видеть, а что не хочет, не видит.

Мурочку положили на животик, и она попыталась приподнять голову, но тут же уронила – грустно положила головку на бочок и смотрит на своих родственников.

– Нормальный ребенок в месяц уже головку держит, а она вон, тюкнулась… – сказала Тамара Петровна.

Тамара Петровна через минуту забыла, что сказала. Но одно нетактичное слово может навсегда разделить людей… Лучше было ей помолчать. Берта в словах Тамары Петровны услышала деревенское недовольство невесткой, которая родила больного ребенка, и чуть не задохнулась от бешенства.

Но обиды обидами, а шишка – вот она, большая.

– Ну, ничего, подрастет – научится, – загудел Кузьмич, попытался свести все к шутке, – нету таких в нашей породе, чтобы не умели голову держать, ха-ха…

– К невропатологу! – сказала Берта, точно указав направление пути.

– В момент организуем, – кивнул Кузьмич. – Но почему врач-то в роддоме ничего не сказал про шишку? Сказал «забирайте в лучшем виде», побоялся, что ли?

– Как только ребенка с их территории вынесли, все, с них взятки гладки, – объяснила Тамара Петровна. Как будто Мурочка была куплена, как сервант или журнальный стол, и чек выбит, и как только ее вынесли из магазина, вся ответственность за повреждения легла на покупателей.

– А вот я родила здорового ребенка, мы по врачам не ходили, – добавила Тамара Петровна.

Тут уже Клара на свекровь обиделась: ТэПэ (так она ее за глаза называла) молодец, родила здорового ребенка, а она, Клара, получается, не молодец, родила больного!.. Больного ребенка?.. О господи, больного… Что оставалось – плакать, бежать к невропатологу, плакать, бежать, плакать…

Невропатолог, самый лучший в городе, сказал: «Родовая травма». Таблетки нужно давать каждые полчаса, разные. Для повышения мышечного тонуса, для снижения мышечного тонуса, для того, чтобы жидкость ушла, для того, чтобы калий из организма не вымывался, для засыпания, для сна, для просыпания… Диагноз – энцефалопатия, причина – родовая травма. Если не вылечить Мурочку, она не будет ходить, не будет держать ложку…

Реакция была у разных родителей разная. Горячевы сначала под тяжестью беды согнулись, затем с бедой согласились и сжились, беда оплела их, как вьюнок, и они стали жить вместе, Горячевы и беда. Кузьмичи не так. Кузьмич хмыкнул, крякнул: он жить с бедой не согласен, нету у его внучки никакой энцепа… нету, и все. Тамара Петровна в связи с родовой травмой ребенка много о чем подумала, прежде всего как бы главврача уволить по статье, затем о своем сыне: какая у него будет жизнь, если ребенок не вылечится?..

Но что же мы ничего не говорим о Стасике? Трудно посреди лекарств и пеленок не заметить человека ростом метр девяносто, но Клара его не замечала: он в беде с ней не жил, в беде она была с Мурочкой и родителями.

Болезнь Мурочки двадцатилетних супругов окончательно разделила, они как жирафы в зоопарке жили: в одной клетке жираф-мама с жирафенком, в другой жираф-отец.

Но все-таки какие у Клары со Стасиком были отношения? Хорошие. Из клетки в клетку – хорошие.

Ну а секс, какой был секс? Хороший. Ничего ни о чем нельзя сказать плохого. Все было хорошо.

Неужели между ним и Кларой совсем не было близости? Пусть они жили как дети со взрослыми, но неужели совсем? Они уходили к себе на третий этаж, закрывали двери, оставались вдвоем, о чем же они говорили? О друзьях, что у кого как, кто получил двойку на экзамене, кто не вышел на сессию, кто с кем встречается… Ну, обо всем таком и говорили. У Клары было много друзей и подруг, и почти все они стали их общими друзьями.

Думаешь о чем-то, страдаешь, а потом вдруг такое случается, что все мысли и страдания оказываются – ерунда. Клара больше не думала, как сохранить себя, не стать только мамой, и как без нее подружки, – подружки все куда-то улетели, на другую планету. Мурочке требуется доза препарата чуть меньше четверти таблетки, как отделить от таблетки чуть меньше четверти – вот о чем теперь нужно было думать.

Берта вечерами сидела за столом, как будто в аптеке: разрезала каждую таблетку бритвой, толкла толкушкой в порошок, несколько частиц ножом отделяла, еще парочку сдувала, в кальку

заворачивала, сверху надписывала, что это и когда давать. С ее лица уже никогда не сходило беспокойство, ни днем, ни ночью, – не перепутала ли она таблетку, дозу, надпись, – и правильно ли невропатолог лечит Мурочку.

И с огромным трудом удалось отправить Мурочкины медицинские бумаги в Америку. Их перевели на английский, профессор Горячев повез их на симпозиум в Венгрию, оттуда бумаги поехали в Америку, на консультацию в Гарвардский госпиталь, где работала русская жена американского коллеги – вот совпадение – детский невропатолог, она проконсультируется с другими невропатологами и даст заключение.

Когда дома младенец, трудно соблюдать порядок достойной жизни… Вот такое, к примеру, случилось: Клара, рыдая, вбежала на кухню растрепанная, в халате на ночную рубашку: «Я дала не то-ооо! Теперь что бу-уудет!! Я ее отрави-иии-ла!» Берта выбежала из спальни в халате на ночную рубашку, зарычала: «Если с ребенком что-нибудь случится, я тебя убью!», а Клара в ответ закричала: «Я сама себя убью! Я вообще тут никому не нужна!»

– А в остальное время они играли на фортепьянах, как и положено в профессорской семье, – меланхолично произнес Горячев.

Но в целом Клара стала ловко справляться: раз – одно лекарство в рот, два – другое! И глаз не сводила с Мурочкиных рук, чтобы Мурочка правильно погремушку держала, чтобы пальчик был не внутри кулачка, а снаружи. «Вы должны следить, чтобы она правильно погремушку держала, чтобы пальчик был не внутри кулачка, а снаружи, нет, не так, а *так*, иначе она у вас не сможет ложку до рта донести… А ножки – вот так массаж делать, а то она у вас будет не ходить, а ковылять». Клара во сне вздрагивала – где пальчик – внутри, не снаружи? – и руки у нее во сне дергались, как будто она массаж делает. Гематома исчезла через месяц – вероятно, лекарства помогали. Лекарства давали Мурочке шестнадцать раз в день, в первой половине дня каждые полчаса, потом перерыв, вечером опять каждые полчаса.

В Клариной голове установилась простая понятная ясность: если Мурочка не выздоровеет, она жить не будет. Она решила это мгновенно: представила своего ребенка, который ложку не умеет держать и не ходит, а ковыляет, и решила – если Мурочка не выздоровеет, она жить не будет. Любопытно, что некоторые моменты Кларино сознание милосердно обошло: если Мурочка не выздоровеет, как же она сможет не жить, ведь у нее Мурочка и мама с папой… Это было торжество инстинкта самосохранения: если будет плохо, она жить не будет, и все.

И это, конечно, сильно упростило дело: приняв решение, Клара перестала задыхаться от ужаса, а просто включилась, как робот: лекарство, пальчик поправить, лекарство, массаж, лекарство, пальчик…

Ответ невропатологов из Гарвардского госпиталя удалось получить нескоро, через восемь месяцев, когда Горячев поехал на следующую конференцию.

Официальный ответ из Гарвардского госпиталя был такой: диагноза «энцефалопатия» в США не существует, описанное в медицинских документах состояние ребенка при рождении не считается родовой травмой. Гематома рассасывается в течение месяца без медикаментозного вмешательства. И от руки было приписано: «Живите спокойно, ребенок здоров».

С этого момента – с момента получения заключения – Берта начала улыбаться. Думала: надо же, все это было зря – слезы, отчаяние, лекарства, – как жалко времени, ведь можно было просто жить…

А Клара все мгновенно забыла: свой ужас, решение не жить, если Мурочка не выздоровеет. Она помнила факты: лекарства, дозы, пальчик, она же не сумасшедшая, чтобы забыть факты. Но она все забыла – слезы, отчаяние, лекарства, – как будто и не было страшного «возможно, инвалид», долгих месяцев, когда Мурочкино будущее было неясно, – вырвалась из ужаса, убежала счастливая. В юности не жалко времени, не жалко, что вот – страдал, а мог бы вместо этого веселиться, – сквозь плохое пропилил и помчался дальше. Она даже не задума-

лась, кто прав – ленинградские врачи или американские, есть ли такой диагноз «энцефалопатия», и был ли он у Мурочки, и что было бы, если бы ей не давали лекарства 16 раз в день, не делили таблетки на микроскопические дозы, не выстроились бы единой цепью, взявшись за руки, чтобы спасти Мурочку, – не задумалась, было ли от чего ее спасать? Это уже было прошлое, а прошлое прошло. К этому моменту в семье остро стоял другой вопрос – как наказывать Мурочку.

Мура носилась по дому, сдергивала скатерти, забиралась по стремянке на верх книжных стеллажей, рвала бумаги, пряталась под кроватями, залезла в книжный шкаф и закрыла за собой дверцу, а однажды уселась на письменный стол деда и изрисовала первую главу чьей-то диссертации. Как наказывать ребенка? Не шлепать же ее? Или все-таки немного шлепать? За диссертацию-то уж можно отшлепать? Или все-таки нет? Когда дед грозно сказал Муре «Ну что, отшлепать тебя??», она покачала головой: ага, тебе, получается, можно рисовать на бумаге, а Муре нет, ты, получается, профессор, а Мура нет, не профессор?

Мура в одиннадцать месяцев говорила, как многие не говорят и к сорока годам, должно быть, таблетки сыграли свою роль.

Кузьмичам очень нравилось, что она девочка-хулиган, они ее поощряли – пусть бегает, всюду лезет, падает, разбивает коленки. Они, как и остальные, радовались письму из Гарвардского госпиталя (сделав вид, что не понимают, что это письмо из Америки), за подписями и печатью, утверждающему, что Мура здорова. Они торжествовали: *их* внучка не могла иметь эту… энцефалопатию!

Клара с Бертой начали ссориться. Прежде были вдвоем, как стальная пружина, сжавшаяся, чтобы вытащить из беды Мурочку, но как только выяснилось, что не было никакой родовой травмы и Мурочка здорова, пружина разжалась и звенья начали лязгать друг об друга.

Клара считала, что закончилось ее заточение, она заслужила право ходить в гости, в кино, в театр. Берта считала, что ее просят остаться с ребенком слишком часто, к тому же Клара не просит, а требует. Клара и правда требовала и обижалась, она стала нетерпима к родителям, как подросток, они ее особенно раздражали тем, что… всем, они ее раздражали всем! Она провела дома, с ними, слишком много времени – целых двадцать лет.

И вот такие диалоги между ними случались, что заставляло Клару вздыхать «мама…» и, как зверька в ловушке, нервно-суетливо оглядываться в поисках выхода.

– Клара, ты видела, какие у Муры зубы растут, как лопаты…

– Нормальные зубы.

– А ты стала слишком худая, тебе не идет быть такой худой…

– Мама, почему тебе все не нравится?..

– Потому что я волнуюсь. Мне же хочется, чтобы она была красавица и чтобы ты хорошо выглядела.

– Ну, мама…

– Что «мама»?.. Вот что «мама»?! Это для меня самой очень плохо, что я такая. Что я за все волнуюсь. Лучше бы мне было все равно.

Труды и дни Андрея Мамкина

КАЖЕТСЯ, ВЫ ОТ НАС НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТЕСЬ.

У меня все пошло не так в детском саду. В детском саду меня дразнили «Андрюша в пальто». Про «плакса-вакса-гуталин – на носу горячий блин» я уже не говорю.

Если бы мы не встретились, я и Андрюша в пальто, моя жизнь повернулась бы иначе.

Но возможно, и нет. Не в детском саду, так в школе… В школе меня как только не называли: Мамкин-Папкин, Бабкин-Дедкин, Бабулькин-Дедулькин и даже Племянников. Я уже знал, что плакать стыдно, и делал вид, что не обижаюсь, но в душе-то плакал. Не в душе, откуда в школе душ.

Но с другой стороны, а если бы я был Лизаветой? Ее фамилия Сачкова, и ее называют Сучкина, Сучка. Лизавете кажется, что в «Сучке» звучит уважение?.. Пусть уж лучше у каждого будет то, что ему предназначено судьбой, а то как бы не было хуже: Мамкин так Мамкин.

Для того чтобы вы не теряли времени и быстрей сориентировались в моей душевной жизни и в моих родственниках, вот мой мир, мир Андрея Мамкина.

Я сам центр своего мира. Я инфантильный, меланхолик, я говорю «Мамочка», и я плакса.

То есть я был плаксой. Мы же знаем, что взрослым можно плакать, только когда играют Шопена или гимн. В этом смысле я взрослый и давно уже не плачу или плачу меньше.

Я не использую сленг, потому что я дважды другой. Другой – не такой, как вы думаете, не «современный подросток», прилипший к компьютеру, повторяющий «жесть, хайп, отстой» и не умеющий чувствовать, как вы. Таких, по-моему, нет, их выдумали.

…А вот и Мамочка. В руках у нее ноутбук.

Она не врывается ко мне без стука (мне 17 лет!), она входит одновременно со стуком. Ничего не поделаешь, холерический темперамент. Татка (моя подруга, с первого класса хочет быть психологом, прозвище Писихолог) говорит: «Она же холерик, сначала действует, потом думает».

Я, как южноамериканский трехпоясный броненосец в минуту опасности, метнул свой ноутбук под подушку и притворился спящим. Мне нравится, что они, броненосцы эти трехпоясные, в минуту опасности сворачиваются в шарик и хвостом блокируют всю конструкцию, это мудро.

– Андрюша, просыпайся! У меня ужас! Мне читательница написала письмо, а издательство переслало… Вот читаю: «Когда у меня была тяжелая болезнь, ваши книги помогли мне выжить». Ужас!

– А почему ужас?

– Ну как? Ты что, не понимаешь?! Это же потрясающе, прекрасно! Именно мои! Не чьи-нибудь, не Толстого, не Мураками, не Акунина или Донцовой, а мои! Ужас в смысле – это потрясающе, что я кому-то помогла выжить!.. Есть великие писатели, есть модные, которые открывают новые художественные миры, экспериментируют с языком, а есть те, которые помогают людям выжить, – и это я! Значит, я не зря живу на свете!.. Почему ты не радуешься?!

На самом деле это, правда, потрясающе, когда ты создал что-то, хоть книгу, хоть зайчика из пластилина, и это сделало чью-то жизнь краше. Это самое крутое, что может быть.

– Андрюша! Смотри, вот еще письмо… Не спи! «…Ваши книги такие позитивные»… Так, дальше неинтересно, это про нее, а не про меня… Ага, а вот тут про меня: «Вы сама такая же веселая и позитивная, мы вас обожаем всей бухгалтерией, пишите нам на радость!» Слышишь? «Пишите! Нам на радость!» …Почему ты не радуешься?! Так, а тут смотри, вышло мое интервью, а вот афиша встречи в московском Доме книги, а это с телевидения, приглашают в ток-шоу… Смотри сколько всего!

Как в одном неглупом человеке может уживаться такое по-настоящему человеческое желание быть нужным людям и такая идиотская суетность? Она любит, когда жизнь кипит вокруг нее, как будто она кура в бульоне.

– Почему я должен радоваться? Может быть, у меня сейчас другое настроение. Не все вращается вокруг тебя.

– Ты прав, конечно, не все… Почему не все?

Она эгоистична, как картина Рафаэля, как будто она одна красота и совершенство и вокруг нет ничего.

Может быть, каждый писатель по определению является сам себе картиной Рафаэля, ведь он сосредоточен на своем внутреннем мире? Даже такой, как Мамочка, не вполне настоящий?..

– А вот неприятное. Смотри, вышла книжка – сборник «Петербургские писатели». Все тут, а меня не включили, никто и не подумал меня позвать… Знаешь, от этого такие бульканья горестные в горле, как фонтанчик – бульк-бульк, горько-горько, обидно-обидно, никому не могу об этом сказать, только тебе, какое счастье, что я могу тебе все сказать… А вот она там есть! Если бы ее тоже там не было, мне бы было не так обидно, не так ужасно больно… Да, мне больно вообще и в частности. Я раньше думала: как пережить все, не рассказывая подругам? А теперь я думаю: только так и можно пережить, потому что не обсуждаешь свои горести… Только с тобой я могу обо всем говорить, все обсуждать. …Что мне обсуждать, какие горести? Как какие? Меня тут нет. То есть там, в этой книжке. А она есть.

Она – это Алена Карлова, которую включили в сборник. Вот такая ерунда Мамочку мучает. Человеку пятьдесят лет, а его мучает такая ерунда!

– Знаешь, что я подумала… Не знаешь? А вот что: мне нечего сказать про главное, про жизнь и смерть, – я не настоящий писатель, поэтому меня и не включили в сборник… Но раз так, я больше никогда не буду писать …Или все-таки мне есть что сказать?

Бедная Мамочка. Мучается, как настоящий писатель. А ведь она писательница для дур. Все ее книги могут называться одинаково: «Очарованная Дура».

Нет, это не то. Не подростковая ненависть к предкам.

Просто это правда: Мамочка – знаменитая писательница для дур.

Она гораздо умнее своих глупых книг. Но пишет всерьез, искренне считает это творчеством, придумывает персонажи, чтобы все было психологически обосновано. Сюжет всегда одинаковый: он и она ищут любовь, находясь в разных местах: Россия и Америка, Воронеж и Москва, разные этажи в одном подъезде, два соседних стола в одной фирме. Сквозь препятствия он и она движутся друг навстречу другу. Препятствия различаются: это другая любовь, предыдущий муж или свекровь, болезнь, предательство.

Конечно, можно сказать, что я не смею смеяться над ее книгами – ведь я ем ее книги, одеваюсь в ее книги.

А я вот смею! Мне за нее обидно. Она сама говорит – делать надо только то, в чем ты первый. Тем более если человек умный, образованный, как она. Или уже тогда писала бы любовную хрень для теток не всерьез. А она, умная, образованная, всерьез говорит «мое творчество».

… – Почему все говорят о возрасте? Что вообще за проблема – возраст? Зрелый возраст богаче юного! …Но как мне жить в таком возрасте? Представь, что все – редакторы, пиар-менеджеры, журналисты, буквально все моложе тебя, а ты, оказывается, старый хрен… Это я про себя…

Так зрелый возраст богаче или она старый хрен?

– Ты думаешь, что я путаюсь, не могу точно выразить такую простую мысль? А потому что это совсем не такая простая мысль.

Недаром у нее большие тиражи. Многотысячные тиражи означают, что она понимает многие тысячи людей, читает их мысли… вот как сейчас мои.

– Знаешь, я скажу тебе один секрет: все, что было раньше, как-то побледнело, стерлось… Я даже мужей своих не сразу вспомню. Нет, твоего отца – конечно… Да и как его забудешь, если он приходит… приходит и приходит… Андрюша, у меня – только не смейся – пропала радость жизни… Нет, в целом радость жизни осталась, но детская радость жизни пропала. Вот скажи, почему лет до сорока семи – сорока восьми я чувствовала себя ребенком, а теперь не чувствую?

– Может, теперь ты чувствуешь себя подростком?

– Ха-ха, очень смешно, – проворчала Мамочка, не отрываясь от экрана ноутбука. – Хотя в этом что-то есть – чувствовать себя подростком. У меня будут подростковые комплексы! Я буду недовольна своей внешностью, буду расстраиваться, что у меня слишком большой нос… Что еще? А, да-а, я буду искренне думать, что все происходящее со мной уникально… Еще секс, я буду все время думать о сексе… Буду переживать, что думают обо мне другие люди.

Она и сейчас переживает, что думают о ней другие люди. Иначе зачем смотрит в Интернете про себя, набирает в поисковике «Клара Горячева» и бегает по ссылкам?

– О-о, смотри, что я нашла про себя. Это материал о презентации, которая была в московском Доме книги, там еще была девочка-журналистка, такая приятная… Слушай, что она пишет: «На сцену вышла пожилая женщина, воплощение петербургского стиля, интеллигентности…» Что? – Она так испуганно захлопнула ноутбук, как будто оттуда на нее выскочил черт. – Пожилая женщина – я?.. Разве можно так говорить про человека?..

– Журналистка дура, ты даже взрослой не выглядишь…

– Ну да, я старше этой девчонки-журналистки, но так писать про меня неправильно… Боже мой, ведь она училась на журфаке, сто раз пожалеешь о советском образовании… Какие времена, какие нравы… Надо же так сказать про меня – «пожилая женщина»… А это точно про меня?

Расстроилась, ушла. Жалко ее, совсем не умеет смотреть фактам в лицо, живет в розовых очках по всем пунктам. В смысле своего возраста особенно.

Все это было о Мамочке. Теперь продолжим обо мне.

У меня говорящая фамилия, как в русской литературе XIX века – Скотинин, Вральман, Стародум… Я – Мамкин. Как будто это специально вышло, ведь мама занимает в моей жизни огромное место.

Я меланхолик. «Человека меланхолического темперамента можно охарактеризовать как легкоранимого, склонного глубоко переживать даже незначительные неудачи, тонко реагирующего на малейшие оттенки чувств».

Всем кажется, что внешне меланхолик щуплый, бледный, в очках… Ну, я такой и есть: очки, легкая сутулость, – типичный питерский ботаник. Не понимаю, почему про меня говорят «красавец», может быть, из-за роста?

Татка-писихолог говорит, что я соткан из противоречий. Это так, личность у меня очень противоречивая, мой внутренний мир отличается от того, каким меня видят другие.

Внутренний мир у меня очень робкий, как положено меланхолику, а внешность мужественная: рост 186, голос низкий, хриплый. Мамочка говорит, что я в детстве очень много плакал и сорвал голос. А может быть, эта хрипотца из-за того, что в детстве я всегда был простужен.

Теперь представьте, каково мне. К красавцам предъявляются определенные требования, если красавцы не могут им соответствовать, они страдают.

На этом с жалобами все. Я постараюсь избежать нытья, рассказов о том, как я замазываю прыщи украденной у Мамочки крем-пудрой, жалоб на неуверенность в себе, мечтаний о сексе и другого типично юношеского содержания.

Я вообще хочу поговорить о другом. Меня интересует взросление. Не мое, а Мамочкино. Взросление взрослых интересней, чем взросление подростков. Каждый подросток считает свои страдания (по поводу прыщей, я имею в виду прыщи в прямом и переносном смысле) особенными, но все подростковые страдания одинаковы.

Каждый взрослый считает свои страдания в точности такими, как у других, но страдания взрослых все разные.

Итак, в детском саду меня дразнили Андрюша в пальто. Кто-то из родителей приволок в дар детскому саду антикварную куклу 1965-го, кажется, года выпуска. Это был кривоногий щекастый пупс в синей кепке и пальтишке, на руке у него висел ярлык «Андрюша в пальто».

Клянусь, что никакого сходства с кривоногим пупсом у меня не было: ни щек, ни пальто. Только имя: Андрюша.

Меня дразнили, я плакал. Плакать не было моим осознанным выбором, плакать от обиды – это свойство моего темперамента: я же меланхолик – ранимость, чувствительность, нежная душа, черт бы ее побрал, если бы вы знали, как с ней неудобно.

Татка говорит, что темперамент динамически и энергетически определяет человека. Ну вот, моя энергия невелика, раз я меланхолик.

Планы на будущее

За меня всего хочет Мамочка. Мамочка – писательница, она привыкла сочинять судьбы.

Она знаменитая писательница. Продается повсюду. Все видели фиолетовые обложки с красным сердечком, как фантик от леденца. В интервью скромно говорит, что любая женщина может стать писательницей, нужно только вспомнить, что писала сочинения на пятерки, и немного нахальства: написать книгу все равно что сварить суп – взять интригу, добавить семейных проблем, по вкусу посолить сексом, поперчить какой-нибудь модной философией. Не переборщить с перцем, чтобы было не слишком умно.

Чего конкретно Мамочка хочет для меня?

Она хочет, чтобы я достиг… ну, вы знаете, добился. И при этом отличался от других. Был не тупо профессором в Гарварде или топ-менеджером в «Газпроме», – это для нас слишком мелко! Мамочка хочет, чтобы ее сын стал современным Леонардо да Винчи: спортсменом-интеллектуалом, чувствительным мачо, бегал марафоны и метал снаряды, задаваясь эсьхзист… экзинцистанци… экзисценци… эк-зи-стен-циальными… главными вопросами человеческого бытия.

Фиг вам, вот что я могу сказать на это. Из того, что она сочинила для меня, мне ничего не надо.

Чем я отличаюсь от других.

О-о, я многим отличаюсь! Я уже в детском саду отличался от других мальчиков… Речь не идет о сексуальной ориентации, сексуальная ориентация у меня традиционная. И да, я точно знаю: мне уже приходилось заниматься сексом. Точнее, мне пришлось заниматься сексом.

Ну, или почти сексом. Татка хотела этого больше, чем я… Не думайте обо мне плохо, но я мог бы еще подождать, без всякого напряга, честно. В семнадцать лет все люди взрослые, но одни взрослей, чем другие. Татка взрослей, чем я, а может быть, у меня не слишком страстный темперамент, я ведь меланхолик. Все люди в семнадцать лет придают больше значения сексу, чем отношениям, а для меланхоликов важнее отношения, чем секс.

Мура, моя сестра, сказала мне: «Тебе с такой красотой будет трудно жить, все женщины будут думать, что ты капитан дальнего плавания». В прямом смысле капитан дальнего плавания или в переносном? Она сказала: «Твоя внешность вызывает надежду». Я понял: они будут думать, что я их мечта. Но я не хочу быть мечтой!

– Когда ты осознал, что ты такой красивый? – спрашивает Татка.

– Никогда. Ничего я не осознал. Ну, с девяти лет, наверное, осознал, или с одиннадцати…

Не то чтобы я не верил, что я красивый, с чего бы всем врать… но это никогда не было правдой для меня.

Я на каждого человека в жизни, и особенно в кино, смотрю и думаю, в чем я его хуже, слабее или глупей. А если не могу сразу придумать, в чем я хуже, то у меня есть слабости про запас, которые всегда можно пустить в ход. Например, я не могу есть незнакомую еду. Это кажется ерундой, но это слабость: папа говорит, что настоящему мужчине должно быть все равно, что есть.

Или иногда я забываю, как надо двигаться. Машу руками, как идиот, или, наоборот, становлюсь слишком зажатым.

Иногда ухо тереблю.

Или придаю лицу задумчивое выражение, как будто напряженно о чем-то думаю. Но это со мной уже в последнее время реже бывает. Теперь я уже ни для кого не живу. Теперь я живу сам: плохо ли, хорошо, но это я.

– Но как именно ты понял? Что ты такой красавец, как атлант у Эрмитажа? Нет, ну ты же знаешь – ты идешь, и все девочки поворачивают голову. Тебе это приятно?

– Неприятно.

Мне очень неприятно. Мне это вообще не нужно. Я не атлант, они не сутулые, а я специально сутулюсь, чтобы меня не увидели. Это как будто все от меня чего-то хотят, а я не могу им дать.

– Ты не можешь принять себя красивым.

Ну да, наверное… Я недавно прочитал биографию Пруста, он сказал: «Принять самого себя – это первое условие писательства». Непонятно, что он имел в виду.

– Ты у меня такой гиперчувствительный… – Татка смотрит на меня, как будто я ее пудель, иду рядом без поводка.

Чем еще я отличаюсь от других? Я единственный из всех знакомых мне людей в мире, кроме Мамочки, читал Пруста и биографию Пруста. Мамочка говорит, что Пруст прекрасен, она очень любила его в юности, но теперь даже полстраницы Пруста погружает ее в сон.

Пруст был меланхолик и гомосексуал. Еще раз отмечу, что я – нет, я меланхолик и гетеросексуал.

Сейчас вместо «меланхолик» модно говорить «высокочувствительный человек».

Но суть-то от этого не меняется! Я как типичный меланхолик всегда сначала вижу неприятное, страшное, опасное и первым делом пугаюсь. Или обижаюсь, или разочаровываюсь, впадаю в панику, в зависимости от серьезности ситуации.

…Потом прихожу в себя, и уже можно как-то пережить.

Никто этого не знает, внешне я сильный, сдержанный и невозмутимый, как удав. Вы бы на моем месте тоже были как удав! Если бы годами слышали: «ты что, девочка?!», «будь мужчиной», «сдерживай эмоции»…

Я годами тренировался не плакать, не быть как девчонка… Привык уже маскироваться под невозмутимого удава, а слезы сами собой наворачиваются на глаза.

Я еще кое-чем отличаюсь от других в плохую сторону: не мог ругаться матом (а ведь нужно!). Когда на переменах на доске писали матерные слова, у меня от этих слов шел мороз по коже и разливался холод в душе.

Мне были неприятны грязные руки, кровоточащие царапины, ноги в песке, из-за этого я не любил купаться в море, мне ни разу в жизни не хотелось залезть куда-нибудь в трубу – там темно. Или спрыгнуть со второго этажа – это высоко.

Я позже узнал: меланхоликам свойственно опасаться за свою физическую целостность и стараться всегда быть идеально чистыми.

И еще я с трудом научился ездить на велосипеде. Вы скажете, что это не опасно, но разве вы не боялись завалиться набок? Я боялся завалиться набок и так и не решился ездить без рук… Потом страхи почти прошли, но слава богу, никто уже не скажет мне: «А ну давай без рук!»

И было ужасно неприятно, когда папа говорил мне с натужной бодростью: «Ну ты же мужик!» Я боялся не быть мужиком еще больше, чем ездить без рук.

Ну, если честно, совсем честно, страхи не прошли, но я научился скрывать. Мысленно сворачиваюсь в шарик, как южноамериканский трехпоясный броненосец (разумеется, без хвоста), и тогда можно как-то пережить.

Важно!!!

Не думайте, что Мамочка меня плющила, призывая к мужественности в ущерб моей натуре! Мамочка всегда была во всех смыслах на моей стороне: и когда я дрался (редко), и когда плакал (часто). Если я хотел плакать, она меня обнимала. Но мои отцы, конечно, вели себя иначе.

У Мамочки было пятеро мужей. Трое, если считать по головам. Пятеро, если считать четвертого за двоих и что она безусловно выйдет замуж еще раз.

Столько мужей звучит, как будто я в детстве стал центром какой-то драмы, как будто у меня была психологическая травма. Татка очень хочет приписать мне кучу комплексов и проблем от такого нестандартного количества отцов, но я сразу скажу: не выйдет! В моей жизни не было никаких драм. У Мамочки было от трех до пяти мужей, а если у кого-то пять мужей, то ясно, что этот человек сам станет центром любой драмы и не поморщится.

Все Мамочкины мужья были мне хорошими отцами. Воспитывали меня с любовью и старанием, чтобы я «вырос мужчиной» по их образу и подобию. Это, конечно, были немного разные образы и подобия, ну и что?

Вот список. Пять мужей Мамочки.

Отец номер 1, студент. Первый муж Мамочки, строго говоря, не имеет ко мне прямого отношения. Они с Мамочкой поженились детьми, у них родилась Мура, затем они развелись, потому что выросли. Муре 29 лет, она разводится, но это неприятная тема, об этом потом.

Первый муж Мамочки служил в нашей семье постоянным положительным примером, образцом всего самого лучшего. Когда я был маленьким и плохо себя вел, моя бабушка, Синьора Помидора, говорила: «Вот бери пример со Стасика, Стасик был такой хороший мальчик… слушался, никогда меня не расстраивал», когда жадничал – «Стасик всегда давал всем свои игрушки», когда плохо ел – «Стасик всегда доедал кашу». Думаю, Помидора считала, что следующим Мамочкиным мужьям необходимо иметь моральные авторитеты, и пусть их моральным авторитетом будет Стасик, первый муж… Почему она Синьора Помидора? Я назвал ее так, когда она прочитала мне «Чиполлино». Она закрыла книжку, легла на диван, поставила на живот пепельницу, закурила и сказала: «Это последняя книжка, которую я тебе прочитала. Теперь я буду лежать и курить, а ты будешь мне читать». В ответ на это я заплакал: «Ты… ты, ты… ты Синьора Помидора!» С тех пор мы называем ее Синьора Помидора, или Помидорина.

Отец номер 2, второй муж Мамочки, банкир, служит, напротив, плохим примером. Помидора говорила: «Борька – человек нашего круга, доктор наук, так нет, ему надо было стать банкиром! Зачем приличному человеку становиться банкиром? Лично мне не нужны такие деньги… Я предупреждала: не надо рисковать, жадничать, думать, что умнее всех… Хорошо, что хоть не убили в бандитской перестрелке». Казалось, во втором Мамочкином муже ненадолго сошлись все пороки и недостатки.

Отец номер 3, папа. Помидора говорила: «Твоя мамочка решила, что достаточно выросла, что может выйти замуж за учителя. Но разве можно быть замужем за учителем? Не

хочу сказать ничего особенно плохого про твоего отца, но он невозможный человек… Жена не может быть ученицей».

Отец номер 4, четвертый муж Мамочки, он же второй. Помидора называет его «бедный милый Боречка, как же так случилось?». Они с Мамочкой развелись три года назад, а в прошлом году он разорился. Помидора передает ему его любимые котлеты. Мамочка говорит: «Напишешь такую историю – люди не поверят: люди думают, что разориться до котлет можно только в сериалах». Я его люблю больше других моих отцов (шутка, первого я в жизни не видел, а второй – это тоже он) и жалею за то, что у него все отняли компаньоны, затем кредиторы.

Честно говоря, я не понимаю, зачем они расстались. Помидора до сих пор кричит ему по телефону: «Ты поел?! Ну, как котлеты?..», как будто он Мамочкин муж. Мура до сих пор советуется с ним во всем, как будто он Мамочкин муж.

Вы же понимаете, что мужья Мамочки воспитывали меня по-разному? С отцом-банкиром я был «богатым», он учил меня, что деньги управляют миром. С отцом-учителем я был «бедным»: раз в месяц он учил меня презирать финансовый успех.

Отец номер 5. Его пока нет, а может быть, Мамочка держит его в секрете. Помидора надеется, что это будет публичный человек, политик или режиссер, и нам предстоит много интересного: она любит светскую жизнь, премьеры, концерты и не отказалась бы выходить из машины в мехах на красную дорожку.

Татка говорит, что все-таки эта катавасия с отцами повлияла на мое эго: отцы воспитывали меня по-разному, вот я и вырос таким амбивалентным – хорошим и плохим одновременно.

Татка говорит, что отец – это главный в мире человек и если он дает нам все, что мы хотим, нам кажется, что мир не страшный и любит нас… Сама она выросла вообще без отца, ей видней.

Интеллектуальные достижения: Андрей Мамкин – мозг нации.

Это шутка.

Но я достаточно умный и на своем веку много учился.

Куда меня только не отдавали! На шахматы, математику, информатику, карате, фехтование, фортепьяно и вокал. Я мечтал играть в футбол, но Мамочка считала футбол, хоккей, баскетбол такими же пошлыми, как хор. Она никакие командные виды деятельности не рассматривала, только личные достижения.

Потом я, конечно, все бросил и стал трудным подростком.

Когда я говорю «стал трудным подростком», то не думайте! Не думайте ничего плохого.

Ничего такого, не буйное поведение, алкоголь, азартные игры или наркотики. Об алкоголе или наркотиках мне даже помыслить невозможно: я очень дорожу физической и ментальной целостностью своего организма. И главное, Мамочка бы просто умерла, если бы со мной что-то такое случилось.

Что касается игр, я могу весь день играть, но это не компьютерная зависимость: я могу в любой момент бросить игру, просто иногда хочется весь день играть.

Я был трудным подростком в том смысле, что меня стало трудно заставить учиться. Даже невозможно. Потому что – зачем?

Спортивные достижения: Андрей Мамкин – кулак нации.

Это шутка. Возможно, я когда-нибудь вернусь в спорт, чтобы получить черный пояс по карате, но пока нет.

Смысл жизни: любовь.

Любовь в моей жизни

«Он пользовался ненужным ему успехом» – это прямо про меня. Большим ненужным ему успехом.

Мне не нужны все эти взгляды, перешептывания, переглядывания, смешки, записки. Возможно, если бы я был свободен… но я не свободен. У меня Татка.

Татка сказала: «Может быть, ты чувствуешь себя обязанным любить меня из-за наших детских отношений? А на самом деле тебе подсознательно нравится сучка Лизавета, лошадь Лизавета?»

Татка считает, что Лизавета похожа на лошадь. У Лизаветы длинное лицо, большой рот и выпуклые глаза. Но как мне может кто-то подсознательно нравиться? Либо кто-то нравится, либо нет.

Мне нравится, что Лизавета похожа на лошадку.

Мои планы на будущее, не Мамочкины

Я не трудоголик.

Я никогда не буду трудоголиком.

Вы спросите: «А деньги?..»

А деньги будут приходить сами! Это шутка.

Мамочка говорит, что одни выбирают путь, где смогут пробиться в первые ряды, а другие выбирают путь неудач и саморазрушения. Она смотрит на меня требовательно, как Родина-мать с плаката, будто спрашивает: «Ты выбрал путь?!»

Я?.. Я выбрал путь, который ведет к успеху: напишу бестселлер, по моей книге снимут кино, кино получит призы на международных фестивалях. Я стану знаменитым, чтобы каждая собака узнавала и говорила: «Гав-гав, смотрите, вот идет Знаменитый Писатель».

Возможно, я сначала напишу сценарий, а уж потом бестселлер. И так, и так может случиться. Мамочка говорит, что способность писать совершенно точно передается генетически, и мне с детства нравилось сочинять истории.

Вспомните южноамериканского трехпоясного броненосца, как он в минуту опасности сворачивается в шарик и хвостом блокирует всю конструкцию. На самом деле у меня есть метафизический хвост, который служит мне опорой.

Мой метафизический хвост – это писать. Не знаю, что бы я делал без возможности описать все, что происходит и что я по этому поводу чувствую: нерешительность, внутренние терзания, обиду. Ну, и глаза на мокром месте.

Мне страшно: вдруг я не стану знаменитым, а стану второразрядным писателем? «Есть два типа второразрядных писателей: те, которые пишут слишком плохо, и те, которые пишут слишком хорошо», – говорил Пруст. И как же нужно писать, чтобы было не слишком хорошо?

Когда человек так выложится, физически и морально, как я, никто не будет ждать от него, что он на следующий день, как зайчик, возьмет ноутбук и опять начнет строчить. Прощаюсь до пятницы.

8 сентября, пятница

А если вы удивляетесь, что я такой умный, так посмотрите на Пруста. Вы в ту же секунду удивитесь совсем другому: какой я глупый. Как человечество умудрилось так деградировать с тех пор, как Пруст заполнил эту анкету в 1886 году? И почему мы считаем себя нормально развитыми экземплярами?

Вот анкета. Здесь вопросы Пруста, ответы мои.

~~Ответы 14-летнего Марселя Пруста~~
Ответы 17-летнего Андрея Мамкина

Какие добродетели Вы цените больше всего?
Те, которые идут на пользу другим людям, а не самому себе.

Качества, которые Вы больше всего цените в мужчине?
Сила духа, как у стоиков.

Качества, которые Вы больше всего цените в женщине?
Красота, а что?.. И способность женщины к пониманию.

Ваше любимое занятие?
Читать, мечтать.

Ваша главная черта?
Неуверенность в себе.

Ваша идея о счастье?
Жить с Мамочкой в Санкт-Петербурге на Таврической улице, 12, где я и живу.

Ваша идея о несчастье?
Три недели быть в разлуке с Мамочкой в глупейшей летней школе в Англии за дикие деньги.

Если не собой, то кем Вам хотелось бы быть?
Я бы не отказался быть Джоан Роулинг.

Ваши любимые писатели?
Достоевский, Хармс, Честертон, Роулинг.

Ваши любимые поэты?
Гумилев, Саша Черный, Олег Григорьев.

Ваши любимые художники и композиторы?
Никто.

К каким порокам Вы чувствуете наибольшее снисхождение?
Я чувствую снисхождение ко всем порокам, потому что «даже в самом злом человеке есть бедная, ни в чем не повинная кляча, которая тянет лямку, сердце, печень, артерии, в которых нет никакой злобы и которые страдают». Это Пруст сам сказал, когда уже был великим писателем.

Пятница, 15 сентября

Только подумал, что уже четверг и нечего будет писать в пятницу, как вдруг стало очень даже есть что писать.

Татка решила, что у нас будет секс.

Что это Невероятная Новость Века, будет понятно, когда я расскажу о Татке. Татка отличница, выполняет все правила, что есть в мире, и сексом должна была бы заняться по крайней мере после окончания института, а уж никак не в 17 лет!

История любви у нас такая: на первом уроке наша учительница (дура) велела: дети по очереди встают и говорят свое имя и фамилию. Дура и садистка: нормальные дети в первый день смертельно стесняются.

Я, хоть и умирал от страха, сказал: «Андрюша Мамкин», и тут все засмеялись и закричали: «Папкин! Бабкин!» – но это я пережил.

И вот встала Татка. Стоит и молчит. Покраснела. Молчит. Учительница говорит добрым голосом Серого волка: «Не бойся, девочка, скажи, как тебя зовут?»

«Тааттт… Татка… – пробормотала Татка и что-то там бормочет: – шер-шершшш», – шуршит свою фамилию. Она заикалась. А учительница (все-таки профессию учителя выбирают люди, у которых садизм в крови) хотела добиться четкости и все повторяла: «Как-как?»

Татка заплакала. Она была очень стеснительная, хоть и самая высокая и крепкая в классе. Я встал, подошел к ней и попросил сказать свою фамилию мне на ухо, чтобы я сказал всем. Она плачет и не говорит. Тогда я тоже заплакал от жалости. Так мы оба стоим и плачем. Представьте себе Татку: высокая, крепкая (крепче меня), каштановые кудри до плеч. Мы с ней рядом хлюпик и толстушка. Видно, что она толкнет меня одной левой и я улечу. Она плачет басом, а я тоненько подвываю.

Я из-за нее все время плакал. Плакал, когда ее вызывали к доске. Татка у доски так волновалась, что невозможно было смотреть на нее без слез. Вот ее вызовут к доске, и кто-то обязательно на меня посмотрит: «Мамкин сейчас заплачет».

Сейчас Татка самая красивая девочка в школе. Может, даже в Центральном районе или в Петербурге.

Она, не подумайте, не модель. Татка слишком крупная для модели, крепкая, с идеально правильной фигурой, как девушка с веслом. На Татку оглядываются и говорят: «Вот это да!» или «Ого-го!». Имеют в виду, что у нее тяжелые каштановые кудри до середины спины, ноги немыслимой стройности и рост 175.

Что еще нужно знать? Татка живет на Мойке. Больше нечего рассказать. У нас с ней история любви без взлетов и падений.

~~И только я собирался написать о сексе, как, прикиньте какой прикол: нарисовалась Мамочка…~~

И тут, представьте, как смешно: Мамочка появилась на пороге с отсутствующим видом. Придумывает сюжет? Она говорит, что все сложные сюжетные ходы приходят во сне: она сама себя настраивает, как инструмент, вечером засыпает и думает о сюжете, а утром просыпается – и раз, все готово! Нужно попробовать… Хотя какие у нее сложные ходы: кто кого полюбил, кто разлюбил?.. Иногда она говорит сама с собой разными голосами – придумывает диалог.

Мамочка говорит: «Каждая моя история растет внутри меня, она только моя, личная и уникальная». Не знаю, что там у нее уникального: любовь, свадьбы, разводы? Ее книги такие, будто к ней в гости пришли родственники, она их любит, но не разговаривает с ними всерьез. Они пьют чай на кухне, она рассказывает про общих знакомых, кто женился, кто развелся, про измены, прощения, детей, любовников… Вот такие ее книги.

Она говорит, что в каждой книге есть кусочек ее самой, ее детские травмы, первая любовь, отношения с родителями, и что-то из этого хорошее, а что-то стыдное. Очевидно, кусочков ее самой недостаточно, и она записывает все, что видит и слышит – может в театре записать разговор соседей в антракте, или записывает что-то после разговора со знакомыми… а иногда разговаривает с кем-то по телефону, говорит «да, да, я вас очень понимаю…», а сама записывает… Говорит: «Думаешь, это стыдно? Может, и стыдно, но все писатели так делают».

Мамочка знает секрет успеха: если история важна для нее, то она окажется важной и для других людей. Большие тиражи подтверждают, что ее истории важны для других людей. Почему им важно, кто женился, кто развелся, кто взял приемного ребенка?.. Объяснение одно: многие женщины не могут читать Пруста, Сартра, Камю, Умберто Эко…

Иначе почему из каждого киоска в метро или на улице торчит обложка с ее фотографией? И в киосках, и в книжных магазинах я сколько раз слышал: «Новая Горячева есть?»

… – Скажи честно: по-твоему, я еще могу стать великой? Когда я говорю «великой», я совсем не имею в виду «великой», я имею в виду не женской писательницей, а… ну, знаешь… просто писателем… Ведь я же умная! И никто этого не знает!

Мамочка, самый здравый человек из всех, кого я знаю, вроде бы понимает, что рассказывает истории на кухне. Не считает себя учителем жизни или интеллектуалом. В книжных магазинах стоит на полке «сентиментальная литература» или даже «женские романы», чтобы читательницы не сомневались и не зарулили случайно не туда, в настоящую литературу.

Но она очень сильно мечтает перескочить на другую полку. Приходит в магазин и сначала мельком бросает взгляд на полку «современная русская литература» – вдруг она стоит там, и потом на полку «женские романы», и обиженно вздыхает, и делает губами «тпр-р», говорит: «А вот и я… смотри, как же меня все-таки много…»

Один раз прошлой зимой в Доме книги на Невском я быстро схватил несколько ее книг, втиснул между Пелевиным и Сорокиным и стал ждать, когда она заметит и обрадуется. И тут мимо промчалась продавщица с криком «Почему у нас тут Горячева стоит?! Среди Литературы!» Бедная Мамочка сбежала из Дома книги, закрыв лицо шарфом. Она очень хочет на другую полку. Есть ли на свете человек, который доволен своим положением?

Мамочка говорит: «Людям кажется, что успех – это о-о-о, успех!.. А на самом деле это испытание: успех заставляет присмотреться к себе, понять, кто ты… и показывает – вот твоя ступень, и не ступенью выше».

На свете есть один человек, который страшно доволен собой, – это мой папа.

… – Ну хорошо, а ты, что ты все-таки делаешь?

– Ничего особенного, сплю.

– Ничего?.. Надо всегда делать что-то особенное.

Мамочка каждую минуту хочет, чтобы вокруг нее был идеальный мир. Чтобы я еще спал в тепле и безопасности, но при этом уже был на пробежке и одновременно учил английский. Чтобы я любил папу и чтобы я забыл папу. Вот это ее желание подстроить весь мир под себя делает жизнь с ней такой ужасной. Но и такой приятной. Никогда не знаешь, пишет ли она сейчас мысленно очередной роман или живет по-настоящему. От этого все, абсолютно все, из-за чего она кричит, сердится, сходит с ума, оказывается неважным. Это лучше, чем всерьез упираться во что-то, как мама Татки. Она ей в три года говорила: «Ты уже взрослая». Ага, а она сама как будто маленькая, у них все всерьез наоборот: Татка – мама, а она – дочка. Может быть, поэтому Татка иногда заикается.

– Андрюша, я не приду на твою свадьбу.

– Мне семнадцать, – напомнил я.

– Но, если так пойдет, ты женишься на Татке сразу после последнего звонка. А я не смогу смотреть, как ты губишь свою жизнь. В этом возрасте нужно переживать романы, влюбляться, бросать, и чтобы тебя бросали, нужно страдать!.. А Татка слишком хорошая, слишком верная! С ней ты загубишь свой талант, он просто увянет, не расцветев… не расцветя… не расцвев… вот, я заговариваюсь от волнения.

– Какой талант?

– Ну, какой-то же у тебя есть талант! Ты хороший, Татка очень хорошая, но у двоих хороших всегда неудачный брак.

– У тебя четыре неудачных брака, как ты вообще можешь говорить о браке?

– У меня – неудачные браки?.. У меня? Назови хоть один неудачный! У меня все браки очень удачные!..

Пришлось вставать и собираться в школу. Сегодня великий день. День, когда Андрей Мамкин станет мужчиной.

Если честно, это звучит ужасно.

16 сентября

15 сентября, пятница, войдет в мою личную историю как Случай Андрея Мамкина, или День Неудачного Первого Секса.

22 сентября, пятница

Все-таки напишу подробней.

Всю неделю мне снится один и тот же сон. Как будто весь мир – это огромная Чаша, в которой кипит Страдание. Не знаю, как я понимаю, что это весь мир, в чаше такое варево, как жидкая овсяная каша, булькает. Но во сне я понимаю, что это весь мир.

От Чаши Страдания идет пар, люди дышат парами страдания и мучаются, я тоже дышу и мучаюсь. И тут кто-то меня спрашивает: «Ты хочешь добавить свое страдание в общую Чашу?» Если я добавлю свое страдание, то все остальные будут страдать еще больше. А если не добавлю, то меньше. Вот такой сон.

Я думаю, к Фрейду ходить не надо – ясно, что имеется в виду: этот сон четко говорит, чтобы я не мучился из-за того, что произошло. В мире и без моего неудачного секса столько плохого, не стоит добавлять такую ерунду в общую Чашу Страдания. Не нужно страдать, чтобы не увеличить общую массу страданий.

Теперь конкретно, что произошло.

Татка попросила меня проводить ее домой: ей срочно понадобилась моя помощь по английскому. Как говорит Помидора, это было шито белыми нитками, потому что ей не нужна моя помощь по английскому.

От школы до Таткиного дома на углу Мойки и Гороховой идти 11 минут, за это время всегда найдется кто-то, кто покажет на нас пальцем со словами «какая красивая пара». На этот раз никто к нам не приставал.

Гиды говорят туристам, что там, во дворах, – грязные подъезды и в целом Петербург Достоевского, но туристы, шляющиеся по Мойке, даже представить себе не могут, насколько у Татки Петербург Достоевского. Таткин двор самый мрачный в мире, подъезд самый грязный в мире и почти винтовая лестница на пятый этаж. В новых домах это был бы девятый этаж или даже одиннадцатый.

Квартира у Татки трехкомнатная, но не совсем отдельная: в двух комнатах живут Татка с мамой и в третьей живет старуха-процентщица, Таткина бабушка по отцу.

Это не глупый юмор: бабушка дает соседям в долг. Проценты платят не деньгами, а услугами: одна соседка делает ей уколы, другая приходит помочь Татке ее искупать. Откуда у бабушки деньги? Бабушке и Татке раз в год приносят деньги от отца. Таткины деньги берет мама, а старушка-процентщица кладет деньги под матрас и лежит на них весь год. Те, кто приходит брать в долг, сами вынимают деньги из-под матраса и потом сами кладут обратно. Получается, что Таткина бабушка доверяет чужим больше, чем Таткиной маме. До сих пор никто не зарубил процентщицу топором и никто не забыл вернуть ей долг. Таткина мама никогда не заходит к ней, не говорит о ней, как будто ее нет.

Когда мы были детьми, я предлагал Татке надеть маски и проследить за посланцами. В детективах посланцы всегда приводят к тем, кто послал деньги. Татка всегда отказывалась: отец не хочет с ней общаться, значит, так и должно быть. Татка такая положительная, такая по-настоящему высокоморальная, что не решалась ослушаться даже этого неизвестного отца. Должно быть, ее отец ужасный тип: не хочет иметь дело ни с Таткой, ни с собственной матерью, старухой-процентщицей.

Теперь нам в голову не придет устраивать слежку… взрослые люди не устраивают слежку за посланцами, а просто узнают, что им нужно. Да и нет в этом никакой романтической тайны: Таткин отец живет за границей и раз в год, пользуясь оказией, посылает деньги. Скорей всего, он живет в Америке, потому что посылает доллары. Татка об отце не говорит, лишь иногда у нее прорывается что-то вроде «Знаешь, в чем ребенок может быть виноват перед своим отцом? В том, что родился». Может, это слишком пафосно, но Татка действительно думает, что она по ошибке живет на свете: отец не захотел ее увидеть, старуха-процентщица орет и злится, даже когда Татка ее моет, мама… Ох, Таткина мама – это отдельный персонаж.

… – Я скоро, – непривычно смущенно сказала Татка. Несколько раз сбегала в шкаф с кастрюлями с водой, потом ушла в шкаф.

В этой квартире ванна в шкафу. Откроешь дверцу – там ванна. Старинная, выложена изумрудным кафелем, с бронзовыми кранами, по краям подсвечники. Раньше через шкаф можно было шагнуть в ванну, вышагнуть с другой стороны ванны и выйти на другую лестницу, в соседний подъезд. Потом дверь заделали.

Многие думают, что сейчас таких квартир нет, но они есть. В ванной холодно, нет отопления. Вода только холодная. Из кранов не течет, но слив работает. Можно принести воду в кастрюле или ведре, зажечь свечи в подсвечниках и мыться в ванне, как в тазу. Татка с мамой как-то умудряются выходить из своей квартиры аккуратные, как будто из стерильного бокса. Татка говорит, что с семи лет стирает свою и мамину одежду в этой ванной в холодной воде и привыкла.

Минут через десять Татка выглянула из шкафа и сказала:

– Сейчас у нас будет секс. Ты не бойся, все будет хорошо.

Ох, я… Я не боюсь. Чего мне бояться?

Но почему именно сегодня, сейчас?

Хорошо бы сказать: «Спасибо, может быть, в другой раз?» Но нельзя. Мужчине положено всегда хотеть секса. Мужчина должен всегда хотеть секса и использовать любую возможность. Мужчина не имеет права отказать девушке, которая хочет секса с ним. Я тысячи раз слышал: «Если женщина хочет, мужик не может отказать». И он должен сразу же захотеть еще больше, чем она.

Всем известно, что среднестатистический мужчина думает о сексе девятнадцать раз в день.

Но я нет!..

Я не могу честно подсчитать, сколько раз в день я думаю о сексе: ведь как только я скажу себе «интересно, сколько раз в день я думаю о сексе?», я тут же подумаю о сексе. Тут честная статистика в принципе невозможна.

А что мне делать, если сейчас я вообще не хочу секса? Весь опыт человечества вроде бы говорит одно – нужно захотеть.

А по-моему, это насилие. Насилие над природой: мужчина по природе охотник. Охотник, а не дичь! Не курица, не утка… не заяц, не олень, не медведь, не лев, не тетерев… Я мог бы убежать, как Подколесин, но пятый этаж… если считать по новым домам – как девятый или одиннадцатый. Но ведь она мерзнет сейчас в этой ванной из-за меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.